

The book cover features a man in medical scrubs with a stethoscope, sitting at a desk in a hospital setting. The background shows a wooden cabinet and a window with blinds overlooking a city.

Ева Маэлль

Коридоры. Кори

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Ева Маэлль
Коридоры. Кори
Серия «Коридоры», книга 2

<https://litres.ru/74363717>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Коридоры. Кори» — это джаз с матом. Голос, который не врёт. Мужчина, который возвращает людей с того света, но не умеет просить о помощи. В школе он был тенью лучшего друга. Смотрел, как тот забирает то, что он сам не осмелился попросить. И ждал. Годами.

Это книга о том, как перестать быть тенью. О любви, которую нельзя назвать любовью. О дружбе, которая держится на молчании. И об одной ночи, которая переворачивает всё.

Роман — вторая книга дилогии «Коридоры», которую можно читать отдельно, и она затянет с первой фразы. Голос Кори останется с вами даже после того, как вы закроете последнюю страницу.

«Я — Кори Уэйн, реаниматолог. Самый громкий голос этой больницы. И я жду тебя там, где застыл Будапешт. Твой. Наш. Ничей».

«Кори настолько живой, что я не верю, что его написала женщина».

«Я не просто читала книгу — я жила в ней, стояла рядом в операционной, ненавидела Кори, когда он был слабым. Он тот, ради которого хочется быть лучше». (Из отзывов читателей.)

Содержание

Пролог	5
Глава 1	8
Глава 2	19
Глава 3	25
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Коридоры. Кори

Пролог

Меня зовут Кори Уэйн, и мы, вероятно, уже знакомы. Я реаниматолог. Возвращаю людей с того света, заставляю биться сердца, которые уже остановились. Я говорю родственникам: «Он будет жить». А иногда: «Мы сделали всё, что могли». Последнее — всегда ложь. Потому что мы никогда не делаем всё. Мы просто перестаём пытаться. И это не только про больничные коридоры.

Я — лучший друг Мии. Той, которую вы любите. Той, которую я никогда не должен был любить. Надёжный. Весёлый. Безопасный. Смеюсь громче всех, прикрываю боль матом, а одиночество — иронией. Я — тот, кого хотят медсёстры и уважают врачи. Но это не вся правда. А то, что принято называть ею не всегда укладывается в слова. Я никогда не был тем, кем кажусь. Но при этом никогда не притворялся.

В школе я был тенью Энди Шейна. Просто смотрел на мою рыжую и не смел подойти. Ждал. Годами. Десятилетиями. Той самой тенью, которая смотрела, как она стоит на коленях перед ним, и ничего не сказала. Потому что я не умею брать — только ждать. Я ждал, когда кто-то заметит меня. Не как врача. Не как друга — просто как человека. А потом случился Будапешт.

И теперь я сижу в своей квартире на тридцать первом этаже, смотрю на остывший кофе, на свои руки, которые держали её тело, её дыхание, её тишину, — и пытаюсь понять: что я сделал? Кем я стал? И есть ли у меня право называть это любовью?

Это книга не о том, как я спасаю жизни, хотя я буду это делать. Я же, сука, Кори Уэйн. Она о том, как я учился дышать. О том, как я перестал ждать. О том, как я переступил черту, которую никогда не планировал пересекать. О том, как я нашёл дом в человеке, который не был моим. И о том, как мы поклялись никогда не говорить об этом вслух. Это исповедь человека, который всегда был отражением или зеркалом, и вдруг стал светом. И теперь не знает, как с этим жить.

Идя по моим коридорам, я покажу тебе, как можно держать на плаву и одновременно тонуть. Как можно любить так, чтобы это нельзя было назвать любовью, быть мужчиной и другом одновременно. Как можно стоять на коленях перед женщиной, которую ты не должен хотеть, и чувствовать, что ты наконец-то стал собой.

Я не обещаю, что это будет легко. Не обещаю, что ты не будешь плакать. Хотя знаю, что будешь. Потому что это — правда. Самая грязная, самая красивая, самая тихая.

Ты пойдешь со мной? Туда, где темно? Где я прячу то, о чём никогда не говорю вслух? Где осталось моё прошлое, повисло молчание, и застыл Будапешт — мой, наш, ничей? То-

гда читай. Слушай. Плачь. Дыши.

И помни: Ты — не один. Я здесь. Мы здесь. Мы — твоя опора, как Мия стала моей. Как Ева стала нашей.

***Ты заметил, что в нашей истории с тобой говорит автор — Ева Маэлль. Она — голос, который держит тебя за руку, когда становится слишком темно. Она — та, кто включала музыку в первой части, чтобы ты чувствовал. Она не даёт тебе упасть в пустоту в моей книге, когда текст становится слишком тяжёлым. Ева как друг, который сидит рядом с тобой, смотрит на дождь и говорит: «Я знаю. Я знаю, как тебе сейчас. И я здесь». Она не объясняет — просто создаёт пространство, тишину между строк, в которой ты можешь выдохнуть. Она — объятие, которое не нужно просить. С ней книга становится исповедью. Твоей и Моей. Когда увидишь её имя — не пропускай. Остановись. Позволь себе чувствовать, даже если это больно. Потому что только так — через боль и откровения — можно найти настоящую тишину. Ты готов? Тогда иди. Я — с тобой. Ева — с тобой. Нам пора.

Глава 1

Я всегда знал: Энди Шейн — тот, кто забирает. Не крадёт, нет. Он просто приходит, смотрит своими коньячными глазами, и вещь сама перетекает в его руки. Как будто у неё нет выбора, как и у меня тоже.

Седьмой класс, новая школа, рюкзак, который больше меня, и имя, над которым все издеваются. «Корнелиус Дэвид Уэйн? Какой-то ты слишком тощий для такого brutального имени», — говорит он, видя меня в первый раз. И улыбается. Я должен его возненавидеть, но я искренне смеюсь. В моей душе не затаивается страх перед его дерзостью, как у будущего реаниматолога, который тогда и представления не имеет о том, что значит по-настоящему «возвращать». В его улыбке нет зла. Только любопытство. Как у хирурга, который ещё не знает, что станет им, но уже режет взглядом. Между нами возникает редкая дружба, которая только крепнет с годами. Просто тогда мы не можем себе представить, что двое мальчишек, таких непохожих, но нужных друг другу, болтающих на уроках и переменах обо всём на свете, могут научиться молчать. Молчать так яростно и громко, что эхо недосказанного будет отражаться от стен госпиталя, в котором жизнь снова сведёт их вместе.

Мой отец, Дэвид Уэйн, — лучший человек, которого я знаю. Он работает архитектором, проектирует мосты и тоннели, но у нас дома он создаёт жизнь — с той же точностью и любовью к деталям. Он может починить всё, что сломалось: от крана на кухне до моего разбитого колена после того, как я упал с велосипеда. Он высокий, широкоплечий, с вечно взъерошенными тёмными волосами и такими же, как у меня, яркими голубыми глазами. Но главное — у есть дар. Он умеет смешить. Не пошлыми шутками, а той редкой, тёплой иронией, которая делает каждого в комнате чуточку счастливее. Мама всегда говорит, что он может рассмешить даже покойника, и я верю, что это правда. Он превращает обычные ужины в спектакли, пародирует соседей, учителей, случайных прохожих так, что я давлюсь молоком, не в силах проглотить его от смеха. Он — мой герой. Мой первый настоящий друг. Тот, кто учит меня, что мир — это не только боль и страх, но и абсурд, над которым можно смеяться. И я впитываю это, веря ему беспрекословно. Вся моя ирония, весь мой сарказм — это его наследство. Его голос до сих пор живёт в моей голове.

Я помню, как мы сидим за ужином, и он рассказывает о том, как на стройке кто-то перепутал чертежи, и вместо моста получилась арка, под которой нельзя было проехать. Он изображает прораба, который кричит: «Это не мост, это скульптура!» — и от смеха макароны застревают у меня в гортани. Мама качает головой, но в её глазах тоже горят искры.

Мы — семья. Как минимум были ею. Теми, кто смеётся вместе. И я думал, что это никогда не кончится.

Наши выходные — всегда священный ритуал. По субботам мы просыпаемся поздно, и отец жарит блинчики с клубникой, пока мама ставит пластинку с джазом. Я помню запах — масло, клубника, кофе, и этот джаз, который всегда звучит в нашем доме, наполняя его неспешной глубиной и особым, понятным только нам, смыслом. Мы едим за большим деревянным столом на кухне, болтаем ногами, и я рассказываю им всё, что случилось мной мной за неделю, в мельчайших подробностях — кого обидел, кого возненавидел, над кем подшутил. Они слушают. Они всегда слушают. Отец подливает мне сок и говорит: «Рассказывай, сын. У нас есть время». И я верю, что оно действительно у нас есть.

По воскресеньям мы ездим к дедушке. Он живет в доме на окраине города, с большим садом, где растут персики и вишни. Я помню, что каждый угол его сада пропитан этими запахами, дарящими почти сентиментальное чувство уюта и покоя. Это рождает в моей детской голове контраст с тем, как дедушка выглядит. Он бывший военным, суровый на вид — седой, с глубокими морщинами на лице и с медалями, которые он никогда не надевает, но которые я нахожу в его шкафу, когда устраиваю там берлогу. Назвать меня Корнелиусом, разумеется, было его идеей. В этом имени чувствуется масштаб и какая-то непостижимая для моего ума в то время

глубина — оно делает меня огромным в моих собственных глазах, но внутри я всегда мягкий, как тесто, из которого мама печёт пироги, как спелые фрукты с его сада.

Дедушка учит меня играть в шахматы, ворчит, когда я пытаюсь сжульничать, и всегда говорит: «Корнелиус, в жизни, как в шахматах. Иногда нужно пожертвовать фигуру, чтобы выиграть партию». Я не понимаю тогда, что он говорит о себе. О том, как он жертвует собой, своей семьёй, своей жизнью, чтобы мы могли жить спокойно. Я понимаю это только много лет спустя. Кстати, он всегда называет меня только Корнелиусом. Не «Корни», не «Кор» — а полным, тяжёлым, почти торжественным именем. Корнелиус. В этом есть что-то особенное. Каждый раз, когда он произносит его, я чувствую себя важным. Не просто мальчиком, которого терпят за его повадки и проступки. А кем-то, кто имеет настоящее значение. Кем-то, кого любят. В его голосе звучит уважение. И почёт. И та глубокая, тёплая любовь, которую я понимаю лишь позже: она не похожа на родительскую. Родители любят тебя потому, что ты их. Дедушка любит меня просто потому, что я есть, я его продолжение, надежда и его свет в конце дня. А я люблю его. Я люблю их всех. И я верю, что так будет всегда.

А потом он болеет. Рак. Сначала это кажется просто словом, которое взрослые произносят шёпотом и с каким-то странным лицом, будто боялся, что оно прозвучит слишком

громко. Я не понимаю тогда, что это значит. Я вижу только, как мама начинает плакать по ночам, а отец реже шутит. Мы перестаем ездить к нему в дом по воскресеньям, и однажды отец говорит: «Нам нужно в больницу. Ты должен увидеть его». Голос ровный, но я чувствую — внутри него что-то зыбко вздрагивает.

Больница, в которую мы приезжаем, — старая, с высокими потолками и длинными коридорами, которые пахнут хлоркой, стерильностью и чем-то ещё — чем-то неуловимым, почти священным. Я никогда не был в таких местах до этого дня, но когда я переступаю порог, я не чувствую страха. Это что-то другое. Что-то, что я не могу назвать в этот момент, но что сейчас я назвал бы «призванием». Белые переходы и галереи, залитые ярким светом, кажутся мне бесконечными, но в них нет пустоты. Только движение, какая-то непонятная мне энергия. Врачи в белых халатах, медсёстры с капельницами, санитары, катящие кресла, аппараты, которые пищат, дышат, считают. Люди входят и выходят из палат, и я замечаю, как на их лицах отражается что-то, что я не могу понять — смесь усталости, надежды и той странной тишины, которая бывает только в местах, где решается судьба.

Идя по коридору, держась за руку отца, и я смотрю на всё вокруг. На врачей. На их руки. Они двигаются плавно, уверенно, как будто знают что-то, что не знает никто другой. И внимательно, изучающее вглядываюсь в пациентов. Некото-

рые лежат с закрытыми глазами, их лица уставшие, бледные, почти прозрачные. Другие сидят на кроватях, глаза открыты, и они смотрят на врачей так, будто те — их последняя надежда. А врачи — они не отводят и не прячут взглядов. Они склоняются, слушают, шепчут, делают что-то руками — и пациенты оживают. Может быть, не все. Но многие. Я заворожённо продолжаю наблюдать. Тогда, будучи ребёнком, я ещё не знаю, что такое смерть в полном смысле этого слова. Но я вижу, как она отступает. Как свет побеждает отчаяние. Как в этих холодных, стерильных коридорах бьётся самое горячее сердце — сердце тех, кто возвращает.

Палата дедушки залита светом. Он лежит на больничной койке. Я знаю его совсем другим — он никогда не упускает возможности подхватить меня на руки при встрече или с серьёзным видом, по-мужски, похлопать меня по спине. Сейчас он обвит странными трубками и проводами. Он выглядит меньше, чем я помню его буквально несколько месяцев назад. Бледнее. Но когда я вхожу, он открывает глаза и улыбается.

— Корнелиус, — и его голос сухой, но по-прежнему родной. — Ты пришёл. Садись рядом.

Я сажусь на стул у его кровати. Отец стоит позади, и я ощущаю его руку на моём плече. Дедушка сжимает мою ладонь тепло, но слабо. Он молчит о том, что с ним происхо-

дит, просто спрашивает, как мои дела, как школа, как шахматы. Он говорит так, будто ничего не изменилось. Будто он всё ещё может играть со мной, собирать вместе фрукты и строить планы на зимние праздники. Будто он не умирает. А потом смотрит на меня тем самым взглядом, который я запомнил навсегда, улыбается, и в его глазах нет страха. Только покой.

— Ты будешь в порядке, Корнелиус. Я знаю. У тебя есть твой отец. У тебя есть твоя мама. И у тебя есть твоё сердце. Слушай его. Обещаешь? Только его.

Не знаю, что ответить. Я просто сижу и держу его руку, пока он засыпает. А потом выхожу в коридор и иду к выходу. Мимо палат, медсестёр, санитаров. И я чувствую, как внутри меня что-то щёлкает. Не как выключатель. Как замок. Как дверь, которая распахивается и больше не собирается захлопываться.

У стойки медсестры сидит женщина с уставшими глазами и седыми волосами. Она заполняет какие-то бумаги. Я наблюдаю, как она пишет, как её пальцы двигаются по листу, и мне кажется, что она занимается каким-то самым важным делом на свете.

— А вы... как вы это делаете? — интересуюсь я с неподдельной искренностью и почти восторгом.

Она поднимает голову, внимательно смотрит на меня, и в её глазах мелькает удивление.

— Что, сынок?

— Как вы можете смотреть на это каждый день? На смерть? На боль? Как вы не боитесь? Вы же не боитесь, правильно?

Она улыбается в ответ на мои слова. Не снисходительно. По-настоящему.

— Я боюсь, малыш. Но всегда продолжаю, потому что я вижу, как они открывают глаза. И они загораются, когда понимают, что будут жить. Как их близкие плачут от счастья, а не от горя. Это всё, что нужно. Один взгляд. Одна улыбка. И ты понимаешь, ради чего ты здесь.

Дедушка умирает через три недели. Снова держит меня за руку и улыбается. Молча. Просто сжимает мою ладонь так, чтобы я знал — он не боится. Потому что он уверен — я буду в порядке. Он уже видит в моих глазах тот же свет, который я видел в глазах врачей.

Когда мы выходим из больницы, я снова иду по тем самым коридорам, не упуская из вида на одной детали. В этот момент я уже знаю, кем хочу быть.

— Пап, я буду как они. Я хочу спасти людей. Я хочу быть врачом! — Выпаливаю в машине по пути домой.

Отец смотрит на меня. Долго. Так, как смотрят на что-то важное. Потом улыбается — той самой улыбкой, которую я запомню навсегда. Не остроумной, не ироничной. А тёплой,

настоящей.

— Ты будешь, сын. Ты будешь лучше всех. Я знаю.

Он надолго замолкает, но я знаю, что он думает о том же, что и я. О том, как я смотрел на врачей. О том, как я говорил о них. О том, как я сжимал руку дедушки.

— Папа, — заговариваю я снова, прерывая тишину. — А ты гордишься мной?

Он улыбается.

— Всегда, сын. Я всегда тобой горжусь.

Через год он уходит. Я не знаю, почему. Никто не говорит мне. Однажды он просто перестаёт возвращаться домой. Помню один из таких вечеров, как мама сидит на кухне, смотрит в одну точку и не говорит ни слова. Я подхожу к ней, хочу узнать, где папа, но она лишь качает головой: «Он уехал по делам». Это ложь. Я точно знаю.

Мама пытается оградить меня, улыбается каждый раз, когда я возвращаюсь из школы, гладит меня по голове, нежно запускает руки в мне волосы и говорит: «Всё будет хорошо, Корнелиус». Но я вижу её глаза. Они пустые и красные от слёз, которых я никогда не вижу. Она всегда ждёт, когда я закрою дверь спальни, и только тогда позволяет себе тихо расплакаться в подушку. Я слышу это каждую ночь. Всегда. Но делаю вид, что ничего не замечаю. Потому что если я

признаюсь себе, что знаю, как ей больно, я тоже сломаюсь, а я не могу, мне нельзя, я должен был быть сильным. Для неё. Для себя. Для того, чтобы мы оба не утонули в этой тишине.

Он не перестает быть моим отцом. Продолжает звонить каждую неделю, присылает деньги. Много. Оплачивает мою новую школу, лучшую в городе, сказав: «Ты должен получить лучшее образование, Корнелиус. Ты должен стать тем, кем хочешь быть, ты же помнишь наш разговор?». Он говорит это по телефону, и я слышу его голос — всё тот же, тёплый, родной, но теперь почему-то такой далёкий. Как будто он говорит из другого мира. Мира, где больше не пахнет блинчиками и клубникой субботним утром.

Моя первая большая потеря. Но я справляюсь, ищу выход и начинаю называть себя Кори. В школе, среди друзей, в документах — везде, где только могу. «Кори Уэйн» — так проще, короче, легче. Никто не спрашивает, что это значит, никто не коверкает моё имя, никто не улыбается с насмешкой. Я стал Кори. Спасательным кругом из четырёх букв, в котором я учусь прятаться от собственной истории. Но до сих пор в официальных бумагах, когда я заполняю анкеты и вижу напечатанное «Корнелиус Дэвид Уэйн», — внутри меня что-то ёкает. Как будто я натыкаюсь на собственное прошлое. На того мальчика, который сидел у кровати дедушки, сжимал его руку и слушал, как он произносит это имя — с уважением, с почётом, с той глубокой любовью, которую

я больше никогда не получал в таком чистом виде. «Корнелиус» — это не сегодняшний я. Это я, который был важен. Которого любили без условий. Который был самым нужным человеком на свете для одного старого военного, умевшего играть в шахматы и называвшего меня только полным именем.

Я стал Кори везде и для всех, потому что так легче. Но в этом коротком имени, в этой тишине между «К» и «и», я ношу напоминание о том, кем я был. О том, какую любовь я получил. О том, какое благополучие у меня было. Точно знаю: как бы далеко я ни ушёл от того мальчика, он всё ещё живёт во мне. В моём смехе, в моей боли, в моём желании спасти.

Глава 2

Первые недели в новой школе я один. Сажу на последней парте, смотрю в окно и ни с кем не разговариваю. Я думаю о том, как сильно хочу вернуться в прошлое. В тот дом, где играл джаз, и некуда было скрыться от запаха персиков и вишни. Я не знаю, как быть здесь, среди новых для меня людей. Мне не страшно — просто странно и прячусь от этого за словом «ждать». Жду, когда закончится урок, день, четверть. Я даже не знаю, что жду чего-то другого. Просто считаю дни.

Я тощий и тихий, так даже проще, чтобы никто не замечал. Я думаю, что это моя судьба — быть невидимым, что я никогда не стану тем, кого будут помнить — выбираю быть фоном для чужих жизней, но внутри меня живёт голос. Он говорит: «Ты не такой. Ты не должен быть таким. Ты не имеешь права». Не знаю, что он имеет в виду, не понимаю, кем я должен быть, но точно осознаю, что я хочу быть кем-то. Хочу, чтобы меня заметили. Хочу, чтобы меня запомнили. Хотя бы раз. Хотя бы на мгновение. На одну, сука, секунду.

Именно тогда я понимаю одну вещь: если меня не устраивает быть тенью, я должен выглядеть так, чтобы меня было видно. Не просто заметно — а так, чтобы меня запоминали. Чтобы, когда я захожу в комнату, все поворачивали головы. Чтобы мой образ говорил за меня, даже когда я молчу.

И я начинаю броско одеваться. На свое шестнадцатилетие я спускаю все деньги, которые отец присылает на месяц, на шмотки, и не потому, что хочу нравиться девчонкам. Парни из класса, кстати, уже во всю мутят с ними, шепчутся о пикантных подробностях, выдуманных ими же, некоторые действительно приглашают одноклассниц в кино или вместе делать домашку. Нет. Мои изменения — не про них. Это про меня. Про то, чтобы смотреть в зеркало и видеть не худого парня с рюкзаком, который больше него, а человека, который знает, кто он есть. Или хотя бы притворяется, что знает. В один из вечеров я захожу в парикмахерскую и прошу сбрить мне волосы почти в ноль. Начинаю бриться каждый день, чтобы щетина росла гуще. Кори Уэйн обретает новый облик и ощущение самого себя. И мне это нравится.

Деньги, которые даются мне как способ загладить вину, тратятся на нового меня, на костюмы и рубашки, которые сидят идеально. На туфли, которые блестят, даже когда на улице грязь. На парфюм и коллекцию чаёв в ярко-красных банках.

Парфюм — отдельная история. Я люблю запахи с детства. Мама всегда говорила, что я прекрасно улавливаю оттенки любых, даже сложных ароматов. Она была права. Я мог различить ноты любой композиции, почувствовать, где заканчивается один аккорд и начинается другой. Это было как музыка, только на коже. Я выбирал одеколоны, как выбираю оружие. Соль, металл, минералы, древесина, табак, кожа,

гвоздика. Ничего лишнего. Только то, что остаётся на коже после того, как ты вышел из комнаты. Чтобы люди оборачивались и думали: «Кто это прошёл?» Кори Уэйн не хотел быть тем, кого забывают. Он хотел быть тем, кого помнят. Даже если не говорят ни слова. Даже если я просто стоял в углу. Мой образ говорил за меня: «Я здесь. Я есть. И я, блять, офигенный».

С годами это стало привычкой. Я не могу выйти из дома без идеально выглаженной рубашки, сесть за стол без того, чтобы проверить, хорошо ли отпарена скатерть, пройти мимо зеркала, не поправив волосы, завести машину, не убедившись, но на лобовом стекле ни пятнышка. Это не нарциссизм, точно знаю. Это уважение к себе, к тем, кто на меня смотрит, к тому, что я представляю. Я полюбил выглядеть острее, иначе, не так, как все. Я хотел, чтобы, меня вспоминали не просто как «доктора Уэйна», который вытаскивает с того света, а человека, который выглядит так, будто он только что сошёл с обложки. Потому что я знаю: как ты выглядишь — это то, как ты себя чувствуешь. И я хочу чувствовать себя хорошо. Даже когда внутри была и есть та самая острая херовая пустота.

Отец никогда не понимал этого. Он из тех, кто носит одну и ту же куртку годами. Я люблю его, но я не хотел быть им. Я хотел быть собой — тем, кто приходит на работу в до-

рогом пальто и пахнет так, что даже министр оборачивается. Тем, кому завидуют санитары и которого боятся медсёстры. Тем, кто — да, блять, тощий. Но тощий в самом лучшем смысле этого слова. Тощий-красивый-холёный-и-не-собирающийся-становиться-как-все. С худобой я тоже разобрался, просто чуть позже. Всё это стало моим способом сказать миру: «Я не жду, пока меня заметят. Я уже здесь. Смотрите. Запоминайте. Я, сука, стою того, чтобы на меня смотреть».

А потом она. Рыжая. Джен... нет, Джеки? Чёрт, я не помню. Потому что в моей голове она навсегда осталась просто как «она». Память — удивительная штука, она забрала не только боль, но и имя. А было охренеть, как плохо. Помню только волосы цвета меди, огромные веснушки, которые я мог пересчитать, если бы посмел подойти ближе. И голос — как треснувшая скрипка. Она сидит через ряд, и каждый раз, когда поправляет резинку на волосах, собранных в огненный хвост, мои пальцы немеют.

Я не говорю о ней с Энди. Вообще никому не говорю и старательно делаю вид, что ничего не происходит. Я умею молчать о главном — это до сих пор мой талант. Я молчал, когда отец уходил, когда мать плакала по ночам, когда в моей груди что-то трещало от одного взгляда конопатой. Я думаю, что любовь — это то, что нужно заслужить, а я ещё не заслужил. Поэтому просто смотрю и жду. Глупо, да?

Он всё понимает, наверное, даже лучше, чем я сам тогда. Читает, как открытую карту. И как-то на перемене, придвигается ко мне в коридоре и говорит:

— Ты смотришь на неё так, будто она — ответ на все экзамены в полугодии.

Я краснею, хотя обычно от моих слов краснеют другие.

— Заткнись, идиот.

— Она симпатичная, — он одобрительно пожимает плечами. — Но она не для тебя.

— Почему?

— Потому что ты не умеешь брать. Ты умеешь ждать. А в этом мире ждут только проигравшие.

Тогда я не понимаю его слов, идиот. Я просто думаю: «Он хочет защитить меня». Каким же придурком я был. Просто идеальным воплощением полного дебила.

Через месяц они целуются на заднем дворе школы. Я вижу это из окна кабинета биологии, когда мою пробирки после урока химии. Стою в перчатках, натянутых до локтя, в мыльном растворе, заливающим фартук и вижу, как она откидывает голову, он держит её за затылок, и их волосы — тёмные и рыжие — сплетаются, как провода, которые замкнули мою цепь. Я не плачу, нет. Я до сих пор не умею этого делать, последний раз слезы только тогда, когда Мию привезли в Истхолл с кровотечением. Плакал не от беспомощности, а от страха её потерять. Орал на свою бригаду и медсестёр,

контролировал каждый писк датчиков на мониторе, отслеживал показатели, не отводя глаз от монитора ни на секунду, а слёзы текли, не переставая. Сейчас же, наклонившись над мойкой в лаборатории, я просто смотрю на свои руки — они дрожат, и я не знаю, от холодной воды в лабораторном кране или от той пустоты, которая начала разрастаться внутри.

Но это еще не херня. Настоящая приходит через три дня. Первой осознанной болью. Такой, что я задыхаюсь.

Глава 3

Родители Энди, Генри и Элеонора Шейн, — те, кого называют «old money». Не в смысле богатства — хотя оно у них есть, — а в смысле породы. Интеллигентность, которая передаётся через поколения. Эстетика, которая не выставляется напоказ, а просто есть. В каждом жесте, в каждом слове, в каждой детали их дома, построенного на берегу большого озера. Он не похож на тот, где живут нувориши с мраморными львами у ворот. Его строили по проекту прадеда Энди — мецената и инвестора, который, по словам моего отца, был известен в широких кругах. Дом из тёплого камня и дерева, с огромными окнами, выходящими на воду. Внутри — никакой вычурности. Только то, что имеет значение: старый рояль в гостиной, на котором Элеонора играет по вечерам, стены, увешанные гравюрами и литографиями, стеллажи с книгами по искусству и архитектуре, которые пахнут старым деревом и временем, камин, бархат и фарфор, передающийся по наследству. Я впервые попадаю туда через месяц или полтора после знакомства с Энди. Он приглашает меня на выходные, и я почти не сплю ночь перед этим — не от страха, а от того, что не знаю, как вести себя в доме, где всё дышит такой правильной, спокойной красотой. Моя мама переживает, что я могу что-то сломать или сказать не то, а отец, уже ушедший из семьи, но продолжающий звонить, говорит мне

по телефону: «Просто будь собой, Корнелиус. Они не монстры. Они просто люди». Я не понимаю тогда, что он имеет в виду. Но когда переступаю порог, вижу: Генри и Элеонора не пытаются произвести впечатление. Они просто есть. Генри встречает меня у двери, в рубашке с закатанными рукавами, с лёгкой улыбкой, которая сразу снимает напряжение. Он высокий, как Энди, но в нём нет той хищной, напряжённой красоты, которая позже появится у его сына. Он мягкий, с тёплыми глазами и голосом, который звучит так, будто он читает вслух старые стихи.

— Как ты доехал, Корнелиус? У тебя очень благородное имя, мы не могли упустить шанса познакомиться с тобой, Энди всё время о тебе рассказывает. Мы рады тебе. Парни, идемте за мной, Элеонора уже испекла яблочный пирог. — Герни расположил меня к себе в одно мгновение, и я, не скрывая улыбки, плетусь следом за ним. Энди шепчет мне на ухо: «Мама понравится тебе, всё будет отлично. Она очень хочет накормить моего худого друга».

На кухне меня встречает женщина, которую невозможно забыть. Не внешностью — хотя она красива той редкой, благородной красотой, которая с годами становится только глубже, а тем, как она двигается, как говорит, как смотрит на мир. Она искусствовед, и каждый её жест будто продуман, но не нарочит. Она кажется мне ожившей картиной или портретом, который вышел из рамы и решил остаться с нами. Наливает нам чай в тонкую фарфоровую чашку и спрашивает,

люблю ли я пироги. Я киваю, и она улыбается в ответ: «Тогда ты наш человек, Корнелиус». Я не знаю, что такое «наш человек», но в тот момент я точно хочу быть им. Принадлежать этому дому, этой тишине, этому спокойствию, которое исходит от каждого их слова. Здесь нет криков и ссор. Нет той тягучей, липкой тоски, которая поселилась в моём доме после ухода отца. Здесь только свет, музыка и запах яблок.

— Пойдём наверх, я покажу тебе свою комнату, там классно! Посмотрим что-нибудь, а потом будем загорать у озера. Тащись за мной! — Энди явно хочется удивить меня. И, да, у него получается, ведь это не просто комната — это его пространство. Его территория. Тут он не тот напряжённый, колючий одноклассник, который всегда держит дистанцию. Здесь он просто Энди. Стены увешаны картами ночного неба и плакатами старых фильмов. На полках — книги по астрономии и хирургии, вперемешку с детективами и сборниками стихов, которые он читает, когда думает, что никто не видит. На столе — старая модель телескопа, который он собирал вместе с отцом. Он показывает мне всё это без стеснения, и я вижу, как он оживает, когда говорит о звёздах и планетах, о том, как свет от них идёт миллионы лет, чтобы мы увидели его сейчас. «Мы смотрим в прошлое, Кори, — говорит он. — Каждый раз, когда мы смотрим на небо, мы видим то, чего уже нет». Я не понимаю тогда, что он говорит о себе. О том, что он всегда будет тем, кто смотрит в прошлое. Да и вообще, даже сейчас, собираю эти воспоминания и не понимаю,

как мы смогла подружиться.

Мы сидим в его комнате часами. Сначала болтаем о школе, о том, кто из учителей кого бесит больше, о списывании на контрольных. А потом разговоры становятся глубже. Мы говорим о смерти, о боли, о том, что значит быть собой, когда вокруг ждут, что ты будешь кем-то другим. Я рассказываю ему о дедушке. Он — о своём страхе не быть достаточно хорошим. О том, как ему кажется, что он никогда не сможет оправдать то, что в него вложили родители. Я вижу, как он сжимает челюсти, когда говорит об этом, но просто сижу рядом, — и этого достаточно. Мы разные, но хорошо понимаем друг друга.

Каждое лето мы ходим купаться на озеро. Вода всегда тёплая, как парное молоко, и мы купаемся часами напролёт, загораем и снова ныряем с деревянного пирса, который построил ещё прадед Энди. Плаваем до тех пор, пока не начинаем дрожать, потом лежим на причале и смотрим на небо. Блять, это быть так хорошо. Мы просто двое мальчишек, которые знают друг друга лучше, чем самих себя. Два подростка, которые учатся быть людьми — не идеальными, не правильными, а просто живыми. Я впервые чувствую себя частью чего-то большего, понимаю, что такое дружба, которая не требует слов. И я думаю, что так будет всегда, но не знаю тогда, что она станет тенью, которая будет преследовать меня всю жизнь, а Энди станет тем, кто забирает. Что он заберёт у меня не только рыжую — он заберёт часть меня, ту, которая

верила в то, что можно быть счастливым без потерь. Но в те дни, на озере, я даже не подозреваю об этом. Я просто счастлив в доме, где пахнет яблоками и музыкой. С мальчишкой, который смотрит на звёзды и боится будущего.

К тому моменту, когда она появилась в нашей жизни, мы уже не те повзрослевшие дети, которые списывают тесты и курят под мостами. Мы становимся другими. Мы взрослеем и превращаемся в юношей — с новыми тайными желаниями, первыми серьёзными страхами, с тем самым липким, жадным любопытством, которое толкает тебя на глупости и откровения. Мы обсуждаем девчонок и их тела, пьем на сиськи и задницы, ходим в кино и сидим на заднем ряду на фильмах, которые никто из нас не должен смотреть, а потом делаем вид, что нам это безразлично. Мы смеёмся над порнушками, которые подолгу загружаем из сети, но внутри нас всё сжимается от желания и непонимания, как с этим жить, как прикасаться к кому-то, не выдавая своих истинных желаний. Пробуем это однажды. За три года до Джеки. Сейчас я вспомнил её имя. Даже странно. Нам по четырнадцать, и мы одни в его доме — родители уехали на выходные, и Энди предлагает остаться у него.

— Тут такое, знаешь. Мамы и папы нет дома, мы можем заняться этим, — он явно в предвкушении. — Пойдем наверх, давай, тащись быстрее.

Мы сидим в его комнате, на всякий случай закрыв дверь

на защёлку, и смотрим на экран ноутбука с таким видом, будто изучаем анатомию — сосредоточенно, серьёзно, с лёгким румянцем на щеках. Там всё, что мы ищем, чего боимся, чего хотим, но не умеем попросить. Сначала это просто любопытство. Мы переключаем ролики, переглядываемся, делаем вид, что это просто смешно. Но потом он останавливается. Я замечаю, как его дыхание меняется, как он сжимает челюсти, его рука, лежавшая на колене, начинает двигаться — медленно, почти незаметно. Я не знаю, должен ли я смотреть на это. Мне нужно отвернуться, выключить ноутбук, уйти. Но я не могу. И не хочу. Любопытство и гормоны берут верх.

—Энди, какого хера?

Я смотрю на его пальцы, на то, как он сжимает себя через джинсы, и внутри меня закипает что-то горячее, запретное, почти болезненное. Не знаю, кто из нас делает следующий шаг. Может, я. Может, он. Мы просто одновременно расстегиваем ширинки, и я слышу, как его дыхание становится громче, чаще. Я закрываю глаза, чтобы не видеть, но продолжаю слышать, как его рука двигается быстрее, как он сдерживает стон. И я делаю то же самое. Мой, твою мать, первый осознанный опыт дочки. Не смотрю на него, но чувствую его рядом — так близко, что я могу коснуться его плеча, если протяну руку. Я кончаю первым. Слишком быстро, слишком тихо, сжимая зубы, чтобы не издать ни звука. Он — чуть позже, с глухим выдохом, который он пытается задушить диванной подушкой. Мы молчим. Кайф и эйфория.

Никакого стыда.

— Я часто так делаю, а ты? — ему явно любопытно.

— Каждый день, — сочиняю я. Я ведь невообразимо крут.

Мы вытираем руки о свои футболки, я отворачиваюсь к стене, чувствуя, как жар заливает мои щёки. Энди выключает ноутбук и долго смотрит в потолок. Никто из нас не говорит больше ни слова. Мы не обсуждаем это. Но с того дня между нами появляется что-то новое — неловкое, почти запретное. Мы становимся ближе и одновременно дальше. Потому что мы знаем, что видели друг друга настоящими. Теперь мы должны носить маски ещё тщательнее, чтобы никто не узнал, что мы сделали. Чтобы хранить наш секрет даже друг от друга. Такие моменты повторяются много раз — мы каждый раз делаем это молча, не глядя друг на друга, как будто это наш просто ритуал, который мы выполняем по инерции. Но в тишине комнаты, в шуме вентилятора, в ритме наших дыханий я чувствую его присутствие сильнее, чем когда-либо. Мы оба знаем, что перешли какую-то черту. Не плохую. Просто — иную. Ту, за которой нет возврата. Но оба делаем вид, что этой черты не существует. Однако, она есть. И я ощущаю её каждый раз, когда он слишком долго смотрит на меня, изучая. Да, у нас двоих получилось узнать друг друга и понять, кто мы.

Энди вырастает в красивого юношу. Но это не та красота, которая притягивает, улыбается и обещает. В нём что-то другое — отстранённое, почти ледяное. Высокий, с широки-

ми плечами и тонкой талией, с волосами, которые он носит чуть длиннее, чем положено, и часто откидывает со лба — но не кокетливо, а почти болезненно, как будто они мешают ему видеть мир. Он действительно привлекателен, но эта красота недоступна. Она закрыта, как книга, которую ты видишь на полке, но знаешь, что никогда не откроешь. Девчонки смотрят на него, но он не смотрит в ответ — держит дистанцию. Он тот, кто всегда стоит на шаг позади, даже когда находится в центре комнаты. Мы оба носим маски. Просто разные. Я прячусь за сарказмом, за остротами, за тем, чтобы смешить всех вокруг, чтобы они не видели, как мне бывает плохо. Энди прячется за молчанием. За тем, чтобы быть холодным и недоступным. За тем, чтобы никто не мог подойти слишком близко. Мы закрытыми, но по-разному, боимся, что кто-то увидит нас настоящими. И в этом мы, наверное, до сих пор похожи. Два мальчика, которые научились защищать себя каждый по-своему, но с одной целью: не быть ранеными.

А я всё ещё сублимный. Худощавый — но не в том негативном, угловатом смысле, который вызывает жалость. Во мне есть что-то интеллигентное, почти старомодное. Острые скулы, яркие губы, синие глаза, которые, как говорят некоторые, «слишком много видели». Я не красавец в классическом смысле. Но во мне есть та глубокая, надёжная статья, которая идёт от внутреннего света. Я, дурак, не понимаю этого тогда. Я думаю, что я всё тот же тощий парень, который

прячется за колючими фразами. Но однажды на день Валентина кто-то из девчонок, я так и не узнаю кто, кладёт мне в сумку открытку. «Ты — самый красивый человек в этой школе, Кори Уэйн. И ты даже не знаешь об этом». Я читаю эту открытку, перечитываю, переворачиваю, проверяю, нет ли подвоха. И я не знаю, что с ней делать. Просто прячу её в карман джинсов и никогда никому не показываю. Тем вечером я закрываюсь в душе, делаю своё дело, вытираюсь салфеткой, долго стою под горячей водой, убеждая себя, что я действительно красив и мне есть, чем гордиться. А ведь действительно было.

Мы становимся еще старше, ближе, глубже. Наши разговоры уже не только о девчонках и порнушках. В один из вечеров мы сидим на крыше его дома, пьем пиво, которое он тайком вытащил из холодильника. Мы смотрим на небо, чуть захмелевшие и дурные. Я люблю смотреть в ночь. Особенно сейчас, работая в госпитале. В этом есть что-то, особенно, когда внизу слишком много шума. Курить, пялиться на звезды и пытаться ни о чём не думать. Мне хорошо в такие минуты. Это моё время, когда суeta стихает на минуты, пока дымит сигарета. Его нельзя нарушать. Даже сейчас, если кто-то из сотрудников заговаривает со мной в похожей стерильной темноте, я смело посылаю. Ночные перерывы на дежурствах можно делить со мной только Мие. Мы оба курим в тишине, молчим каждый о своём, а потом я всегда отправляю её домой спать. Но она упрямая, дожидается утра в ка-

бинете. И только потом, заглянув в ординаторскую пожелать врачам следующей смены хорошего дня, уезжает домой. А я снова курю, принимаю душ, переодеваюсь и еду к себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.